

СЕРГЕЙ СЕДОВ

Играй, Илия, играй

Философская сказка

Октябрьская прижалась спиной к бетонному забору. Даже сейчас она не прекратила стучать. Наоборот, палочки в её руках ходили нервно и торопливо, словно ей надо было успеть отбарабанить, отбить песню, что звучала у неё в голове.

— Не дрожи, не тронем, — произнёс Фаддей, сплёвывая в снег, — мы же товарищи, Ася. Или нет?

Он продолжал светить Октябрьской в лицо. Та жмурилась и отворачивалась. «Дружеский разговор», что обещал Фаддей, превращался в какой-то гоп-стоп, и мне это не нравилось. Я всё больше сожалел о том, что во всё это влез, мялся и переступал с ноги на ногу. Под подошвами моих кроссовок скрипел снег.

— Мёртвая мышь тебе товарищ. И не смей называть меня Асей! — отрезала Октябрьская.

Она выбила палочками особую, резкую и короткую, дробь. На миг наступила тишина.

— Убрать свет! — рявкнула Октябрьская и грохнула в барабан с обеих рук.

Он вспыхнул багровым и алым. Раздался треск, фонарик Фаддея взорвался. Оранжевый фонарь на столбе мигнул и погас. Я задрал голову — казалось, только что небо было утыкано колючими звёздами, сейчас же было ничего не разобрать: бешеный ветер, тучи и ледяная круговерть. Я поёжился, огляделся — нигде не было ни одного огня. Какая-то авария? Если бы прошлой ночью не выпал снег, мы бы сейчас стояли в полной темноте, такой, что лиц не разглядеть.

Я чувствовал, что Лёвик нервничает ещё сильнее меня. Только Фаддей казался спокойным. Он повертел в руках искорёженный фонарик и отбросил его в сторону.

— Очень страшно кричишь, — протянул он, — только зря это. Мы, твои товарищи, меж собой пообщались и сошлись на том, что ты неуважительно к нам относишься.

— Хочешь силой заставить уважать? — хмыкнула Ася.

Барабанные палочки задвигались вновь.

— Подкалываешь, — Фаддей покачал головой, — зря. Зря ты так с нами. Мы ж тебе не чужие, учимся вместе. А ты ведёшь себя с нами высокомерно, не говоришь, не общаешься. На переменах стоишь в углу и стучишь, стучишь, как Кибальчиш. Окружающим это кажется странным и обидным. Не надо так.

— А как надо? — неожиданно оживилась Октябрьская.

— Надо уважительно, Ася. Чтобы окружающим не казалось, что ты их ни во что не ставишь. И не выглядело так, словно ты кукушкой поехала. Так что давай ты сейчас отдашь мне барабан, и мы разойдёмся, довольные друг другом. А когда ты обдумаешь своё поведение и научишься себя вести, я тебе его верну.

— Ася, — встрял я, — ну ты же нормальный человек...

Октябрьская коротко заржала. Уступать по-хорошему она не собиралась. Беседа текла не в ту сторону. Что теперь? Отнимать силой? Больше всего я сейчас хотел сдать назад, но не понимал, как это сделать.

— И Лидия Ивановна тоже с нами согласна, — гнул своё Фаддей. — Она, конечно, не знает о нашей беседе, но будет рада, если ты начнёшь себя нормально вести. Так что давай сюда свой адский бубен.

Фаддей протянул руку. Октябрьская коротко размахнулась и ввупила ему палочкой по пальцам. Фаддей коротко рыкнул и отдёргнул руку. Всё стало совсем плохо. Теперь назад не сдаст уже никто.

— Ну всё, — просипел Фаддей. — Запомни, Ася, если ты плюнешь на коллектив, он утрётся. Но когда коллектив плюнет на тебя — ты утонешь.

Наступила тишина, в которой раздался отчётливый вздох Октябрьской:

— Какие же вы все скучные! Чем дальше, тем меньше я понимаю, о чём с вами вообще говорить. Вот ты, лысый, сыплешь чужими прибаутками, живёшь чужими... как это слово... понятиями, а сам-то ты что? Как с тобой общаться, если ты никого, кроме себя, не слышишь? Стоишь тут, лечишь меня, а у самого мозгов — кот взблевнул. Друзей

твоих я толком не знаю, но раз они здесь стоят, сопят, значит, ничем не лучше. Меня от вас тошнит, сгиньте уже с глаз моих.

Палочки замерли. Небо просветлело. С секунду на лице Октябрьской застыло отчаянное и злое выражение, а потом она решительно ударила в барабан.

Земля под моими ногами треснула, словно скорлупа, я взмахнул руками, но нашёл никакой опоры и полетел вниз.

Кости срослись, но левая нога всё ещё отказывалась меня слушаться. Врачи что-то мямлили про «длительную реабилитацию», а потом просто выписали меня с глаз долой.

В каком-то смысле дома мне было тяжелей, чем в больнице: отвык быть в одиночестве. Мать, посидев со мной пару дней и, похоже, задобавшись до изнеможения, с облегчением вернулась к своим разъездам и командировкам. Раз в два дня приходила мрачная соседка, убиралась, готовила и уходила, хлопнув дверь. Со мной она не общалась.

Падая в эту странную яму, скрытую под тонюсеньким слоем снега и асфальта, я умудрился не только переломать ноги, но и хорошо приложиться головой и спиной. Читать я не мог — почти сразу начинала трещать башка, да и не любил я никогда это особо. Ещё был телевизор. Но он стоял на кухне, и мне было непросто до него добраться. До туалета-то доковылять — целое приключение. А перенести телевизор ко мне в комнату мать наотрез отказывалась. Хотя, казалось бы, ей-то что? Она его не смотрит, потому что дома практически не бывает. Так или иначе, последнее слово осталось за ней, а я постепенно начал понимать весь смысл слов «длительная реабилитация».

Из хорошего — моя кровать стояла у окна. Большую часть дня я, если можно так сказать, смотрел чёрно-белое кино.

Мы жили на первом этаже, но решётки на окна так и не поставили. Иначе я бы точно съехал с катушек. А так хоть мог ненадолго распахивать окно, впуская в дом февральский дубак, дыша морозным воздухом, пока зубы не начинали стучать.

Окно моей комнаты выходило на пустырь с понатыканными то здесь, то там бетонными столбами. Он тянулся до железнодорожной насыпи. По ней примерно раз в час громыхали товарняки. Крытый.

Цистерна. Цистерна. Открытая платформа. Крытый. Шестьдесят один вагон, пятьдесят восемь вагонов, сорок семь, тридцать четыре...

Люди здесь не слишком-то гуляли, только обходили пустырь по краешку. Зато за пару недель я узнал в лицо, то есть в морду, каждого местного кота. Я дал им имена и орал в окно: «Привет, Рыжий!», «Привет, Захар!», «Здорово, Хромой!» Коты меня игнорировали. Им не было до меня дела, как и воронам, рассаживающимся на подпиленных ветвях деревьев вдоль насыпи, как и бестолково пасущимся голубям... как и никому. Мир был чёрно-белым. Хорошего от него ждать было бесполезно. Я и не ждал.

Ни Фаддей, ни Лёвик меня так ни разу и не навестили ни в больнице, ни дома, хотя я знал, что они отделались ушибами. Так уж вышло, что мои «товарищи» оказались мне не такими уж и товарищами. Впрочем, я и не хотел никого видеть. Перед глазами то и дело всплывала брезгливая гримаса на лице Октябрьской. Мы тогда поступили как говно. Я был говном, и вполне справедливо, что в итоге и плавал в нём, на дне той странной ямы, полной канализационных труб, которые никуда не вели.

Было большим облегчением узнать, что Ася Октябрьская в эту яму вместе с нами не свалилась. Это было бы просто несправедливо. Хоть так.

Товарняк звучал как-то странно. Обычно он громыхал на стыке рельсов: «Ты-дых, ты-дых!» А в этот раз к его обычным звукам примешивалось звонкое: «Тра-та-та-тах, тра-та-та-тах!» Я протянул руку, распахнул окно. Последние вагоны уже проехали, а «тра-та-та-тах» продолжался. Я уцепился за раму и подтянулся к окну так, что смог высунуть голову наружу. Внизу стояла Ася Октябрьская и со всей дури лупила по своему красному барабану — единственному цветному пятну в чёрно-буро-сером февральском мире. Впрочем, были ещё два задорно торчащих хвостика с алыми ленточками.

— Вечная весна-а-а в одиночной камере! — пропела она, увидев в окне мою обалдевшую рожу. — Вечная весна-а-а!

— Зима, — поправил я на автомате, — и не вечная. Пройдёт когда-нибудь.

Я не понимал, что происходит, откуда под моим окном взялась Октябрьская и почему она вообще со мной разговаривает после всего.

— Ты тоже считаешь дни до весны, Илия?

— Не Илия — Илья. Не называй меня так. Мало ли что в паспорте записано.

Не мне сейчас было делать ей подобные предьявы, но что вылетело, то вылетело. А Октябрьская даже, кажется, обрадовалась:

— Ого, да ты прямо как я! Тоже ненавижу, когда меня Асей зовут. Сразу ассоциации: детсад, хохломские стульчики, каша с комками, бе-е-е... Так что, как только у меня появился шанс, я всем запретила — теперь никто меня так не зовёт, просто не может.

— Да ладно! Нормальное же имя... А... А...

Я не смог закончить фразу, потому что у меня свело челюсть.

— Вот я и говорю, никто меня больше Асей не зовёт. И у тебя не получится. — Октябрьская довольно улыбалась.

— Ерунда!

Я попробовал ещё раз. А потом ещё и ещё. Все мои попытки были безуспешны. Я был не в состоянии назвать Октябрьскую Асей.

— Забей, Илия. — Октябрьскую это, похоже, забавляло. — Не парься, это не ты башкой поехал, такова теперь суровая реальность. А я, прости, буду звать тебя Илией, потому что мне так нравится.

Во всё время нашего разговора Октябрьская ни на миг не прекращала бить в барабан. Было громко. Я ожидал, что сейчас из окон начнут вылезать недовольные жильцы, но, похоже, всем было плевать.

— На самом деле я к тебе по делу. Можно сказать, официально.

— Что-о-о? — Я вытаращил глаза.

— Официальная миссия, говорю. — На лице Октябрьской застыла серьёзная мина, но через пару секунд она не выдержала и прыснула в кулак, ненадолго прекратив стучать. — Сегодня я твоя Фея одного желания. Видишь ли, я решила, что несколько перегнула палку, слишком мощно вас прокляла. Вы ведь по факту ничего не сделали, барабан отнять не пытались, только болтали. А я вас — в яму, в дерьмо. А совсем уж несправедливо то, что твои друганы уже давно на ногах, а ты до сих пор инвалид. Так что тебе полагается компенсация в виде одного желания. Исполню, правда, выборочно, с торгом и обсуждением. Так что не тяни: у меня счётчик тикает, — говори, чего хочешь больше всего.

Она выбила звонкую дробь и замерла.

Я, конечно, из того, что она наговорила, не понял ровным счётом ничего. И свои последующие слова так никогда и не смог объяснить ни себе, ни ей.

— Пусть мы с тобой подружимся. Станем хорошими, настоящими друзьями.

Палочка вырвалась из рук Октябрьской и звонко стукнула в барабан, прежде чем отлететь в снег. Октябрьская подняла на меня удивлённое лицо, и чёрно-белый мир внезапно обрёл цвета.

— Вообще планировалось, — вздохнула она, — что ты просто захочешь вылечиться. Типа: «Цветик-семицветик, хочу, чтобы мальчик Женя был здоров...»

— Но...

— Ты не понимаешь, чел. Почти полтора месяца, сорок грёбаных дней готовилась, а в результате... мы теперь друзья с «нормальным пацаном». Вот на фига я тебя спрашивала?! Надо было не выделяться, а самой пожелать. А теперь — и ты не вылечился, и мне непонятно, что делать с дружбой такой.

Она стояла под моим окном с барабаном в руках, несла полную ахинею, но мне почему-то было легко и спокойно, *словно мы действительно давние друзья.*

— Слушай, Илия...

— Илья!

— Нет, будешь Илия. Всё! Ты скажи: у тебя пожрать есть?

— Должно быть, — я чуть растерялся, — надо посмотреть. Только я почти не встаю, даже впустить тебя будет проблемно.

— А, не парься! В окно запрыгну. Один момент!

Она повернула барабан и пристально взгляделась в его красный блестящий бок.

— Триста девяносто три, фигня.

В течение последующих десяти минут она просто колотила в свой барабан. Выходило задорно, только я вконец замёрз.

— Ты если лезешь, то лезь. А то дубак. — Я поёжился.

Она кивнула, но продолжила стучать. Вскоре остановилась, выдержала паузу, что-то пробормотала и звучно, с треском лупанула по барабану. Вышло так громко, что, казалось, слышно было во всём районе.

После этого Октябрьская оттолкнулась от заснеженной земли обеими ногами и прыгнула — странно, невозможно, по-мультиашному, люди так не могут, — и вот она уже стоит на подоконнике, чудом не наступив мне ни на руки, ни на голову.

— Я такая прыгучая потому, что пью гамми-сок! — заявила она.

— Врёшь, — проворчал я, — он действует только на гамми-мишек.

— И как он догадался, что я не мишка? — заржала Октябрьская, перешагивая через мою голову.

Только когда я закрыл за ней окно, понял, как замёрз. Октябрьская обшаривала холодильник на кухне, а я накрылся одеялом до подбородка, лязгал зубами и продолжал ничего не понимать.

Барабан лежал на расшатанном венском стуле рядом с моей кроватью. Яркий, блестящий, с хромированными ободками, на боку белой краской неряшливо — номер триста семнадцать. Я высунул дрожавшую руку из-под одеяла, обхватил пальцами лежавшую сверху барабанную палочку, стукнул раз, другой. И этого явно не могло быть, но семёрка сменилась девяткой — теперь барабан имел номер триста девятнадцать.

Пришла Октябрьская, молча отобрала у меня палочку. Она притащила здоровенную тарелку бутербродов с копчёной колбасой, проигнорировав всю здоровую еду, которой, я знаю, у нас в холодильнике полно. Мы сидели и жевали бутерброды, запивая несладким чаем. При этом Октябрьская всё время держала барабан на коленях. Она отхлёбывала из чашки, запихивала в рот куски хлеба с кругляшами колбасы, жевала, смеялась, говорила с набитым ртом, а в это время её левая рука с палочкой всё время еле слышно, но непрерывно била в барабан.

— Да поешь ты как нормальные люди, — не выдержал я наконец, — никто твой барабан не заберёт.

Лучше бы не говорил. Она сразу напряглась, взгляд стал неприятным.

— Ты, что ли, заберёшь? Кишка тонка.

Я мог бы свести всё к шутке, но её слова и тон меня задели.

— На фиг мне твой барабан не нужен. Захотел бы — сто раз бы уже отнял.

Октябрьская ощетинилась.

— Ну попробуй, возьми. — Она резко протянула мне барабан.

— Убери его. — Я откинулся на подушки. — Я так сказал, чтобы понимала...

— Нет, — голос у неё был злым, — давай отнимай, раз уж сказал. Иначе ты не пацан, а трепло пустое.

Если посмотреть со стороны, наверное, это была очень смешная сцена. Но тогда я очень разозлился. Выбросил руку вперёд, хотел схватить, выдернуть у неё игрушку, потом вернуть, конечно, просто чтобы знала...

Вместо этого меня стошнило.

Когда я пришёл в себя, всё вокруг было заблёвано. Октябрьская сидела рядом и вместо тазика держала передо мной тарелку с остатками бутербродов. При этом она зачем-то хлопала меня по спине, будто это хоть как-то могло помочь.

— Илия, ну чел, прости дуру, — бормотала она. — Взбесилась, злыдня, болит у меня в этом месте. Потерпи, сейчас пройдёт. Это на десять минут только, совсем простое проклятье. Так что ты не умирай, слышь?!

Я и не собирался. Десять минут, видимо, истекли, потому что меня перестало выворачивать так же внезапно, как и начало.

Октябрьская с тоской оглядывала загаженную комнату:

— У тебя хоть салфетки есть?

Я не знал, и она ушла искать на кухню. Пришла, поморщилась, кое-как подтёрла, подчистила ковёр и покрывало. Вздохнула о загубленных бутербродах.

— Я ведь всю колбасу перевела, — сокрушалась она, — а больше у тебя в холодильнике ничего съедобного: капуста, суп с травой, йогурты какие-то. Прости, я не специально тебя прокляла, это вообще теперь на барабане такая защита. Каждый, кто попытается отнять барабан, будет блевать. Прости. Психованная я, друг.

Во взгляде её мелькнуло что-то беспомощное. Она наклонилась ко мне, и несколько секунд мы смотрели в глаза друг другу. Вид у неё был виноватый. Октябрьская — моя ровесница. Но с правой стороны рта у неё наметилась складка, а от левого глаза лучиками расходились четыре морщинки. Мне внезапно захотелось обнять её. Еле удержался. Вместо этого я тихо произнёс:

— Октябрьская, что происходит?

Она нахмурилась. Села на стул, вновь положила барабан на колени, понурилась:

— А если расскажу, не разболтаешь? А то подчинять твою волю и всё такое будет уж совсем не по-дружески. Так что просто обещай.

Я закивал: мол, конечно, никому никогда. Я уже устал ничего не понимать.

— Ладно, принято. — Октябрьская понизила голос. — Слышал про Безумный Клоунский Оркестр?

Это было неожиданно.

— Все слышали, в детстве, в лагере у костра: «Девочка-девочка, не покупай чёрный контрабас!» или «Оранжевая труба засосёт тебя». Сидели потом такие... от каждого шороха вздрагивали.

— Во-о-от! И мы тоже. Подросли, бояться перестали. Ну, в общем правильно — не надо ничего бояться. А вот то, что перестали в эти истории верить...

— Ну, знаешь, фиолетовый бубен, растягивающий время; чёрный контрабас, создающий двойников; красный барабан...

Я осёкся. Октябрьская улыбалась:

— Вот именно, Илия, вот именно.

И она многозначительно постучала по краешку своего барабана. Я прекрасно понимал, куда она клонит, но вестись на это не собирался. Сегодня случилось много странного, но, я был уверен, у всего этого были нормальные объяснения, а не этот дешёвый развод. Я уже понял, что моя новая лучшая подруга совсем не дура приколоться над ближним.

— Ты меня разводишь, — сказал я, — уже усёк, шутки у тебя отпадные.

— Окей, — вспыхнула Октябрьская, — устроим демонстрацию. Легче немного колдануть, чем убеждать тебя полгода. And I want it painted black...

Последние слова она пропела. Мелодия, кстати, ничего так была.

— Это ты чё такое спела?

— Для тебя ничё, раз не знаешь, — отрезала она.

Схватила палочки и загрохотала. Стучала она круто, по крайней мере, быстро и ровно. Я даже заслушался, начал головой потряхивать, но тут она резко остановилась. Рывкнула:

— I want it painted black!

Я не понял, что Октябрьская там «ай вонт», а она уже подняла палочку над головой, как сигнальщица:

— Ну как тебе такое, Илия?

Я даже не стал поправлять её — хлопал глазами, разглядывая обои: на них ещё можно было различить тиснёные ромбы, которые мне не то чтобы нравились, но я к ним привык. Вот только они больше не были ни персиковыми, ни светло-бежевыми.

— О-фи-геть! — только и смог сказать я.

— Заодно ремонт тебе подновила, будешь теперь жить «в чёрной-чёрной комнате».

Я охнул. Чёрными стали все стены, пол, потолок, цвет мебели и одеял, даже хрустальные плафоны люстры потемнели и утратили прозрачность.

— Эй, — осторожно начал я, — а ты сможешь всё вернуть, как было? А то как-то... мрачно.

Октябрьская покачала головой:

— Не-а, колдовство уже не отменить. Только ручками всё покрасить и поменять. Прости, друг. Увлелась.

— О, нет... Скажи, что врёшь, а?

— Вру, — легко согласилась Октябрьская, — но про барабан ты теперь-то мне веришь?

Я верил. А что мне ещё оставалось?

— Никакая ты не фея, — вздохнул я, — ты бедствие, твоим именем в Америке когда-нибудь назовут ураган.

Её лицо засияло.

— Илия, чел! Да это лучшее, что мне сказали за последние полгода. Дай я тебя обниму. Нет, ну круто же — ураган «Октябрьская», вообще офигенно!

Обниматься, впрочем, не полезла. Сидела, монотонно постукивала палочкой в барабан, кусала губу.

— В общем, смотри, слушай. Для меня всё началось летом. Одиннадцатого июля. С утра была злющая, почему — забыла. Было тошно, гадко и казалось, что всё воняет какой-то дрянью. В общем, к обеду решила: пошли все на фиг, мне нужно побыть одной. У меня было место на бывшем железобетонном заводе, там в одном месте в заборе во-о-от такая дырища, очень удобно, если знать. Внутри никого

нет, только бетонные плиты стопками сложены, криво так, забраться ничего не стоит. Залезла на них, сижу, трясусь от злости. Уже начинает отпускать — хорошо, нет никого, только голуби бродят. Но они не лезут и тупых вопросов не задают. И только я начинаю успокаиваться, как откуда ни возьмись этот чудила с бородкой.

Вот не надо никогда терпеть, послала бы сразу, обложила трёхэтажным, и все были бы если не счастливы, то хотя бы целы. А этот залезает ко мне на плиты, садится рядом и начинает мне что-то затирать. Я отворачиваюсь, не слушаю, он меня бесит: и голос скрипучий, и говорит медленно, манерно так. Ла-ла-ла, клоунский оркестр, ла-ла-ла, волшебный барабан, любое желание, ла-ла-ла, устал, ничего не хочу...

А потом суёт мне этот барабан. Я отталкиваю, а он снова мне его в руки пихает.

«Я его, — говорит, — вам дарю, девушка. Теперь он ваш. Он сейчас заряжен. Пожелайте что-нибудь простое и приятное. А потом стукните».

И вкладывает мне палочку в руку. А пальцы у него липкие. И тут я не выдержала: «Исчезни, debil!» — и палочкой грохнула, криво, по краю, просто со зла.

Октябрьская замолчала. Глаза у неё стали стеклянными, она смотрела куда-то сквозь меня.

— А он что? — нетерпеливо спросил я.

Несколько секунд она тормозила, не понимая вопроса, потом вздохнула:

— А он... взял и исчез.

Октябрьская опустила голову и долго так сидела, молчала, даже стучать перестала.

— Илия, ты понимаешь, что я сделала? Я ж его убила, хозяина красного барабана, совсем убила.

— Ну-у-у, может, он просто быстро ушёл? — Ничего умнее мне в голову не пришло.

Октябрьская выругалась. Грустно и без огонька. Закрыла глаза. Заговорила тихо-тихо.

Она тогда не сразу поняла, что случилось. Был человек, нелепый, доставучий, раздражающий, и вот его нет, только красный барабан на коленях. Чуть не выбросила. Это уже потом, когда поняла, как он работает, вспомнила обрывки услышанных слов, сложила всё вместе,

нажелала мелких радостей, наделала глупостей, исправила, уяснила, что к чему, вот тогда-то к ней и пришло понимание. Я бы ни за что не хотел быть на её месте, когда она поняла, что наделала.

Барабан исполнял желания. Любые. Точнее, почти любые. Вернуть своего бывшего хозяина он отказался: то ли не мог, то ли Октябрьская как-то неправильно формулировала. Но это, как я понял, был единственный случай, когда желание вообще не могло быть исполнено. Остальное — пожалуйста, всё что угодно. Вопрос цены. Каждое желание стоило определённое количество ударов палочками. Хочешь мороженое — настучи двести пятьдесят раз, число на боку барабана меняется, показывая, сколько ударов у тебя уже в запасе, а сколько нужно для исполнения задуманного. Для того чтобы желание исполнилось, надо чётко проговорить его вслух, а после один раз стукнуть в барабан.

От всемогущества хозяина барабана отделяло количество ударов, нужных для исполнения конкретного желания. Чтобы набрать очки для простой житейской магии, требовалось молотить палочками от десяти минут до нескольких часов. А вот чтобы, например, вылечить больного, особенно тяжёлого, требовалось такое количество ударов, что надо было барабанить неделями или даже месяцами напролёт.

— Я, чтобы хоть как-то успокоить совесть, приходила в хоспис, выбирала бабушку или ребёнка, а потом долбила, долбила, долбила. Потом загадывала желание, и человек выздоравливал, вставал и уходил домой. Самой мне легче от этого не становилось, чем больше я видела, тем яснее понимала: всё это — капля в море. Пока я исцеляю одного, умирает десять, образно говоря.

— А ты не пробовала загадать, чтобы выздоровел не один человек, а целая палата, или все в хосписе, или вообще все?

— Думаешь, один такой умный? — Октябрьская покачала головой. — Пыталась, конечно, и так и сяк. Только оказалось, что к барабану логика оптовых продаж неприменима. То есть исцелить десять человек по одному гораздо быстрее, чем тех же десять зараз. А уж всех на земле... Солнце погаснет, прежде чем я набью нужное количество. Так что я лечила, кого могла, но легче мне не становилось...

— Получается, когда ты между парами забивалась в угол и стучала... Я отвернулся. Какой же стыд!

— Всё верно, лечила бабушку с раком толстой кишки... Ладно, Илия, проехали уже. Вы тогда дерьмово себя повели, ничего не поделаешь. Но лично ты этот кредит уже выплатил. С грабительскими процентами, друг.

Я покачал головой:

— Думал, я если и не хороший, то нормальный человек, а теперь уж и не знаю.

— Это нормально — не знать. В этой странной жизни нельзя быть ни в чём уверенным, даже в том, что ты — ты, даже в том, что ты — человек.

— Ладно, не загоняйся. — Я так прифигел с её слов, что даже забыл, что мне стыдно. — Кем же я ещё могу быть, я же помню и детство, и как рос, и как жил...

— На самом деле воспоминания невозможно отличить от фантазий. Но не суть. Дай пять, нормальный человек.

Она протянула мне сжатую в кулак ладонь, и мы стукнулись костяшками. Октябрьская улыбалась, но как-то подозрительно. А потом стукнула в барабан, активируя желание, и мультяшным прыжком с перекувырком вылетела в окно. Рама захлопнулась за ней сама. Выглядело очень круто.

Я расплющил нос о стекло, но с той стороны уже никого не было, только снег, чахлые кусты, бетон и металл — чёрно-белая картинка. Интересно, а в моём детстве вид из моего окна был так же уныл, как и сейчас? Я пытался вспомнить, представить себя пятилетним, но не мог. Потому что я им не был. Сначала мне было тринадцать. Мы сидели на загаженных ступенях между этажами, из форточки дуло, а пепельница была полна бычков. Копоть сидел на подоконнике, у него были золотые крылья и зелёный ирокез на голове. Димка Бычок лежал в отключке под батареей на спине. Меня мутило.

— Где мы, Копоть? — спрашивал я.

Но тот только пожимал плечами, и золотые крылья за его спиной мелко тряслись.

— Ты же ангел, Копоть. Ты должен всё знать. А то я даже не помню, кто я и откуда тебя знаю. Что мы делаем здесь, Копоть?

— Вы все — ангелы, а я... — тут Копоть смачно сплюнул на пол, — я — человек.

— Но у тебя крылья. У одного тебя...

— Крылья, — мрачно сказал Копоть, — нужны только людям, они любят летать. Кроме них, это мало кому интересно. А ты — ангел, Илия. — С этими словами Копоть распахнул перекошенную оконную створку, оттолкнулся и взмыл в тёмное небо.

Зима вливалась в подъезд, морозила, дышала в лицо. Я был ангелом с золотыми глазами. Димка Бычок был ангелом, но он только что умер. По треснутому кафелю каталась пустая водочная бутылка, меня мучило. Я не хотел такого начала.

У меня не было детства. Не было машинок и погремушек, ко мне не приходил Дед Мороз, я не катался с горки. С самого начала мне было тринадцать, я не смог спасти Бычка и никого. Вокруг меня жили крылатые люди и бескрылые ангелы, все они умирали у меня на глазах, а я просто смотрел и ничего не мог сделать. Всё, что я знал о себе, оказалось глюком, придумкой, попыткой спрятаться от боли. Почему Октябрьская не сказала мне... На этом месте память сбоила, я не мог понять, была ли Октябрьская на самом деле или её я тоже сочинил вместе со всем остальным.

Проснулся я оттого, что кто-то барабанил в стекло. Ещё в полусне я приподнялся и повернул ручку. Рама распахнулась, чуть не стукнув меня по носу. В оконном проёме стояла Октябрьская.

— Значит, ты всё-таки есть, — равнодушно сказал я. — Получается, ты мне врала.

— Чё-о-о?! — Октябрьская пошатнулась и поспешно ухватилась за раму.

— Ты делала вид, что я — человек. И ты — человек. Я не понимаю зачем.

— Всем нам приходится притворяться людьми. — Октябрьская перепрыгнула через кровать своим уже привычным мне мультяшным прыжком, опустилась на корточки, придвинулась так, что наши лица оказались очень близко.

— А кто ты, Илия? Если не человек, то кто?

— Такой же, как и ты, ангел, не притворяйся. У меня золотые глаза, мне всегда было тринадцать, и я никого не в состоянии спасти.

Она долго не отводила взгляд:

— Илия, чел, они у тебя зелёные. И всегда, сколько я тебя знаю, такими были.

Как только она это произнесла, я словно увидел своё отражение в зеркале. И точно: зелёные, мутные, никакого золота. Но как же? У Октябрьской глаза тоже были самые обычные, серые. Что же мы за ангелы такие?

Мне хотелось свернуться, обхватив руками колени, но Октябрьская не дала. Она тормозила и требовала подробных объяснений. Не отступила, пока я всё ей не выложил. Помолчала, кивнула удовлетворённо:

— На самом деле, Илия, ты родился у самых обыкновенных людей, были у тебя и кровать, и коляска, конструктор и кубики, Дед Мороз, противный лук в тарелке, и к своим тринадцати ты шёл долго и трудно.

Её голос лился, и всё, что она говорила, превращалось в картинки перед моими глазами. Да, всё это было. Я учился ходить и кататься на велосипеде, меня пугали страшные глаза в книжке, и я решил их закрасить, однажды на Новый год мне подарили железную дорогу с заводным ключом... Почему я всё это забыл?

— Илия, Илия, если ты ещё не понял, это было колдовство. Я тебя немного раскачала. Тяжко было?

Я кивнул. Очень тяжело.

— Значит, я не был ангелом? — спросил я наконец. — Но если я начинаю об этом думать, то снова вижу свои первые часы в подъезде и как Копоть вылетает в окно.

Она пожала плечами:

— Я же говорила, настоящие воспоминания ничем не отличаются от фантазий. Зато ты теперь богаче на целое ангельское детство. Правильно я говорю, нормальный парень?

С этого дня Октябрьская стала заходить каждый день. Иногда — после учёбы, иногда — вместо. И это, конечно, раскрасило мои дни. Моя нога всё ещё отказывалась слушаться, так что делать я особо ничего не мог. Поначалу Октябрьская ставила свою музыку, но она была слишком странная, так что я долго выносить её не мог, а то, что нравилось мне, вызывало у Октябрьской рвотные позывы.

Так что мы вообще перестали что-либо слушать и просто болтали. Первое время Октябрьская пыталась затирать мне про книги, которые прочла, но я не читал ни одной. Тогда она стала таскать их мне: типа

вечером будет делать нечего, прочтёшь. Я пытался, но дальше первой-второй страницы так ни разу и не продвинулся.

В конце концов Октябрьская отстала и больше не пыталась меня грузить. Иногда у неё был такой взгляд, будто она снова собирается проделать фокус с моей головой, но либо она терпела, либо мне просто казалось. Я даже снова начал чувствовать себя нормальным. А так как общих тем для разговора у нас оказалось не так уж и много, всё наше общение строилось вокруг красного барабана.

Мы развлекались простыми чудесами, стойвшими небольшого количества ударов. На что-то более серьёзное Октябрьскую было не развести — говорила, что копит очки на то, чтобы меня вылечить. Против этого мне возразить было нечего, мне порядком опостылело валяться целыми днями.

Однажды она ввалилась в моё окно довольная и загадочная:

— Придумала одну классную штуку. На улицу хочешь? Прямо сейчас? Вот только придётся потратить недельный запас очков.

Я очень хотел на улицу. И даже то, что это на неделю отодвинет моё окончательное выздоровление, меня не остановило.

— Неделя туда, неделя сюда, какая разница? — заметил я.

— Отлично! — обрадовалась Октябрьская. — Смотри, что у меня есть.

И она поставила передо мной розовое кукольное креслице.

Я не спросил, что это за хрень. И даже не сказал, что она двинулась кукухой. Это же Октябрьская. Она всегда такая. Так что я просто ждал объяснений.

Октябрьская, похоже, ожидала, что я восхищусь её гениальностью. Не дождавшись, вздохнула:

— Оно к куртке, к плечу пристёгивается, на две кнопки. Между прочим, сама вшила, барабанные очки не тратила. Мог бы и оценить. Прикинь, поедешь у меня на плече. Круто же!

Настала очередь вздыхать мне:

— Это кресло слишком маленькое. Я в него ни при каких условиях не помещусь.

Тут она просияла:

— В том-то и прикол: сейчас мы тебя уменьшим. На сорок минут. Дольше — слишком большой расход очков. Я не уверена, но может быть больно, так что потерпи, если что.

Это была очень странная прогулка. Октябрьская закутала меня в какие-то меховые обрезки и крепко примотала к креслу куском изолянта, но я всё равно боялся свалиться: мало ли, вдруг кнопки подведут — я костей не соберу.

Я ужаснулся, представив, как это выглядит со стороны. Девчонка с барабаном и куклой на плече. Мы договорились, что, когда мимо будут проходить люди, я буду сидеть неподвижно, чтобы не пугать народ.

Скорее всего, если бы у меня было время привыкнуть, я бы начал получать удовольствие от прогулки. Ветер задувал так, что Октябрьская то и дело поднимала руку, придерживая моё кресло: боялась, что оно отстегнётся и улетит. Я несколько раз просился домой, но Октябрьская неизменно отвечала:

— Слушай, Илия, ты такого, может быть, никогда снова не испытаешь. Жалеть будешь, что не нагулялся. И да, это насилие.

У бабки были злые глаза и опущенные уголки рта. Она так зыркнула на нас с Октябрьской, что меня передёрнуло.

— Вот какого фига мы ей сделали? — крикнул я в ухо Октябрьской, иначе она бы не расслышала. — Смотрит так, будто мы её в грязь толкнули и посмеялись.

— Хочешь узнать? — Октябрьской, наоборот, приходилось говорить потише, чтобы меня не оглушать.

— В чужую голову не залезешь, а жаль, — откликнулся я. — Так-то интересно, за что нас с тобой можно ненавидеть.

— Интересно, — согласилась Октябрьская. — Ну-ка, дай пять.

С этими словами она поднесла ко мне свой кулак. Он был размером почти с меня. Я тюкнул его, недоумевая, к чему этот жест, и только потом понял, что попался на её колдовство.

— Октябрьская, прекрати! Я не хочу, не хочу.

— Илия, чел, — Октябрьская трясёт меня за плечо, — всё уже, очнись...

Лежу ничком на кровати. Прогулка вышла та ещё.

— Я не Илия, я бабка. Жалкая. Беспомощная. Непонимающая. Нога болит. Спина болит. Жизнь болит. Нельзя привыкнуть! Как будто рюкзак на спине тяжелее и тяжелее, а для всех ты вдруг стала прозрачная, невидимая. Неинтересная, ненужная. А ты ничего не сделала. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. С этим не смиришься! Они все-все смотрят сквозь. Если потребовать, тебе уступят место, расступятся, пропустят вперёд, только это незачем. Нужно, чтобы тебя увидели. Но нет. Понимаешь, Октябрьская?! Не тормози, я знаю, я Илия, нормальный пацан. Но уже не только. Теперь я та бабка. И это не отменить. Я тебя из неё видел: «Вон эта, с барабаном. Куклу на плечо посадила, думает — самая умная, думает — одна такая. Идёт важная. И её видят, обратится к кому, не только ответят, но и сами спросят, уйдёт — запомнят. А я?!»

Знаешь, мне всё время хотелось, чтобы всё сгорело, сгнуло и чтобы я один... одна осталась, стояла и язык показывала. А потом тоже сгнула... Вот на фига ты это сделала? Почему я должен за неё болеть? Я не хочу, даже понимать её не хочу, это жость, жость... Не хочу, чтобы так было. Вот как? Блин, ты чокнутая совсем.

— Чокнутая, — подтвердила Октябрьская. — А ты нормальный?

— Нормальный, — простонал я, — нормальный... был. А теперь уже и не знаю. Я, может, теперь никогда эту бабку из головы не выкину. Не перестану ею быть.

— Так здорово же! — Октябрьская хлопнула меня по спине. — Двери восприятия должны быть открыты. Знаешь, кто сказал? А, забей! Послушай, люди, которых ты называешь нормальными, — они просто ничего не понимают, не видят, не слышат, закрылись, захлопнули окна, уши. Не надо такими быть.

— А я хочу.

— Эй, Илия! Послушай, ну-ка, послушай меня. Сядь. Я тебе расскажу. Всё расскажу.

Я сидел и слушал. И бабка слушала, и златоглазый ангел, и Копоть. Они никогда уже не уйдут. А Октябрьская, скрестив руки, носилась по комнате, пинала пустую банку из-под колы, которую никто не подумал выкинуть.

— Думала, что смогу что-то для всех сделать. Это же такая мощь — красный барабан. Я думала, лечить хорошо. А потом поняла: это ничего не меняет. Люди выздоравливают, но всё равно остаются несчастными, а потом умирают. И я ничего не могу с этим сделать. Совсем ничего. Ни счастья дать, ни мир сделать лучше. А хотелось бы. Представляешь, Илия: сделать мир лучше? Я уже себе всю голову сломала — как.

— И... как?

— А так. Я поняла. Вся боль, Илия, — от нормальных людей. Тех, что не слышат, не видят, не понимают ни себя, ни друг друга. И при этом они не виноваты, зайчики беленькие, просто их не научили. В общем, я нашла себе цель. Важнее даже, чем лечить. Надо всё раскачать. Всё расшатать. Как я — тебя. Ты ведь теперь, даже если захочешь, не станешь таким, каким был. И прекрасно. Ты — чудо. Это больно, но оставайся таким.

Я пожелала, и мне теперь даже стучать не надо. Каждый, кому я «дам пять», просветлеет, блин. И будут «светлеть». Сейчас вылечим тебя и начнём. Представляешь, ты, да я, да мы с тобой. Будем людей расшатывать, показывать, как странен мир. Нас станет больше, гораздо больше. А в конце «нормальных» вообще не будет. Не смотри такими глазами, это же круто! Так жить очень больно, я знаю, но ведь гораздо-гораздо правильное.

Я смотрел на неё и понимал, что моя подруга давно и далеко поехала. И по сравнению с ней я даже сейчас оставался «нормальным парнем», скучным, обычным парнем.

Ещё я понимал, что Октябрьскую надо остановить. Переубедить не выйдет — мне в жизни её не переспорить. Как-то надавить, заставить я тоже не мог. Она — моя подруга, но в то же время хозяйка красного барабана, а против него не попрёшь. Оставалось одно — мне нужно было забрать барабан, самому стать его хозяином. Так в этот день я предал Октябрьскую, свою подругу. Пока только в мыслях.

Я думал над этим не день и не два. Был уверен, что поступаю правильно. Проблема заключалась в том, что я не мог присвоить, взять, отнять, украсть: барабан был полностью защищён.

Решение мне подсказала сама Октябрьская. Мы стояли на крыше и смотрели, как в небе мечутся стаи ворон. Точнее, Октябрьская стояла, а я, уменьшенный, сидел у неё на плече.

— Знаешь, — сказала она, — а я ещё в начале ноября как-то захотела полетать вороной над городом. Если на пару часов, то очков не так уж много потребуется. Только барабан оставлять без присмотра побоялась. Стала выяснять. И знаешь, Илия, хорошо, что не поторопилась. Оказалось, если я ворона — значит, не хозяйка барабана. Хозяйка — девушка Октябрьская. Значит, пока я в перьях кружу над городом — барабан ничей, бери его кто хочет. Так что я эту затею отложила.

Я прикусил язык. Покивал, но не сказал ничего. Теперь я знал, что буду делать, и был сам себе противен.

С того дня я время от времени упоминал о птицах. Пару раз сказал, что действительно круто было бы полетать. Но не просил, не настаивал, лишний раз не намекал. Просто ждал. Чувствовал себя очень хитрым. И подлым.

И однажды Октябрьская сказала:

— Слушай, Илия, а может, забьём на всё и летаем птицами? А ногу твою чуть позже вылечим. Оставим барабан у тебя, что с ним, в конце концов, случится?

— Стрёмно, — откликнулся я, — мало ли, вдруг в квартиру кто без нас заберётся.

— Да брось! — отмахнулась она. — Если даже грабитель придёт, то на барабан в последнюю очередь позарятся.

Иногда она бывала очень непоследовательна.

У нас было полтора часа. Одежду пришлось снять. Став птицами, могли бы в ней застрять. Так что мы отвернулись друг от друга и разделись. А потом Октябрьская ударила в барабан.

Было больно, но быстро прошло. Ощущения такие, словно тело смяли, как кусок пластилина, и тут же вылепили из него новое, птичье. Не знаю, как работала эта магия, как в птичью голову вставили человеческий мозг, но я мог думать как человек, и чувства тоже, кажется, оставались человеческими.

Начинало темнеть. Я видел своё отражение в оконном стекле. Красивый из меня получился ворон.

Октябрьская стояла в раскрытом окне. Белая ворона, я мог бы догадаться! Повернула голову, бросила на меня внимательный взгляд чёрных глаз и выпорхнула наружу. Чтобы окно не закрылось, Октябрьская заранее подпёрла створку... барабаном. Это был верх легкомыслия. Или верх доверия.

Лететь было наслаждением. Мир внизу был мрачен и сер. Я слышал, у птиц какое-то совершенно особенное цветное зрение, но нам, похоже, достались человеческие глаза. Но и этого хватало с лихвой.

Мы неслись над полосой железной дороги. Обогнали гроыхавший товарняк. Справа от нас трубы ТЭЦ выбрасывали в небо толстые столбы дыма, слева уносились назад безрадостные скопления девятиэтажек.

Я всё время помнил про отпущенные нам полтора часа. И про то, что я должен был сделать. Это постепенно отравляло радость полёта. Октябрьская же, как мне казалось, напрочь забыла о времени. Она совершала странные круги, неожиданно пикировала, пару раз чуть было не врезалась в угол девятиэтажки. То, как она летала, можно было обозвать двумя словами: неумело, но вдохновенно. За временем следить она не собиралась.

У меня, впрочем, тоже часов не было. Я слышал, что у птиц уникальное чувство времени, но вот прямо сейчас я не знал, как его использовать. Мы с Октябрьской сделали себя слишком человеческими птицами.

Здание Дома культуры — там над входом горели зелёным электронные часы. Я забрал вправо и начал спускаться. Пролететь между пятиэтажками, подальше от проводов, миновать сквер, несколько раз махнуть крыльями, пересекая площадь. Часы подозрительно мигают, но работают. Девятнадцать пятнадцать. Прошло полчаса. Скоро придётся возвращаться.

Октябрьская растерянно кружила в районе путей. Она меня потеряла. Подлетела ко мне, захлопала крыльями. Хорошо, в голову не

клюнула, развернулась и полетела. Я рванул за ней, не понимая, как дать понять, что пора поворачивать к дому. Время летело быстрее нас.

Железная дорога под нами разошлась на несколько рукавов, как река. Мы покидали город. Я запаниковал. А вдруг прошёл уже час? Что будет, если мы не успеем вернуться обратно? Попытался позвать Октябрьскую, карканье получилось громким, хриплым, весьма впечатляющим, но Октябрьская не обратила на него никакого внимания. Тогда я ускорился, нагоняя её. Это оказалось неожиданно легко. Поравнялся с ней, и некоторое время мы летели рядом, крыло к крылу. Я кричал, каркал, хлопал крыльями, а она не могла взять в толк, чего я от неё хочу. Тогда я, не переставая каркать, развернулся и полетел назад. Вслед мне раздалось ответное карканье, весьма недовольное. Белая ворона не желала возвращаться так быстро.

Сейчас или уже никогда. Я рванулся вперёд, яростно работая крыльями. Оглянувшись, я увидел, что Октябрьская летит за мной. Она довольно сильно отстала, но именно этого я и добивался. Мне требовалось остаться один на один с барабаном хотя бы на пару минут.

Во всём доме уже зажглись окна. И только моё, настежь распахнутое, было тёмным и жутким. Я притормозил и опустился на подоконник. Барабан продолжал удерживать створку: плохая, ненадёжная подпорка. Я боднул его клювом, и он упал внутрь, а створка окна, ничем больше не удерживаемая, с треском захлопнулась. Я опустился рядом с барабаном, сложил крылья и стал ждать обратного превращения. Октябрьская не сможет попасть внутрь через закрытое окно. Ещё мне надо будет продержаться несколько минут, пока я отбиваю триста семнадцать ударов. После этого моя подруга забудет все события этого дня. Я впущу её и, пока она ничего не будет соображать, заставлю забыть эту её идею — сделать всех ненормальными. И тогда я верну ей барабан. Честно, верну.

Я больше не врал себе — это был худший поступок в моей странной жизни, но поступить иначе я не мог.

Октябрьская даже не посмотрела, открыто ли окно. Врезалась в стекло так, что побежали трещины. На короткий миг зависла с той стороны, словно приклеилась, а потом начала медленно падать назад и исчезла.

Я расправил крылья и рванулся, не зная, не думая, как справлюсь с оконной рамой, но тут полтора часа вышли. Моё птичье тело смялось

в комок, какое-то время я не чувствовал ничего, кроме боли и страха, а потом обнаружил себя лежащим на полу, голым и дрожащим. Я вскочил. Да, я, блин, вскочил и стоял! Отказывавшаяся все эти месяцы служить нога заработала как миленькая. Барабан висел у меня на шее, в руках были палочки. Я рывком распахнул окно и выпрыгнул наружу, упал, вскочил, споткнулся, подполз к распростёртому телу Октябрьской. Её шея была вывернута так, что всё было уже ясно, только я не хотел этого знать. Не сумев нащупать пульс, я поднёс полированный бок барабана к её губам. Ничего. Я убил её.

Со временем что-то творилось. Сначала оно почти остановилось, а потом внезапно рвануло вперёд. Кто-то прошёл мимо, окликнул, потряс меня. И вот вокруг нас с Октябрьской плотное кольцо людей. Вытоптаный снег. Вой приближающихся сирен. Непоправимое совершалось сейчас... Нет! Поправимое! Так сказал я, Илия, нормальный человек! Я поднялся, голый, с барабаном на животе, и над телом своей подруги начал играть. Тра-та-та-та-та-та-тах! Тра-та-та-та-та-та-тах!

Я начинаю забывать Октябрьскую. Когда пытаюсь припомнить её лицо, вижу размытую картинку. Только складка у рта и четыре морщинки у глаза. Не буду врать, я уже почти не тоскую, за двадцать лет зарастает любая дыра. Но тут дело принципа. Я должен её вернуть. Все эти годы я стучу в барабан, отвлекаясь лишь на сон и еду.

Когда меня спрашивают (а иногда меня действительно спрашивают), почему я живу так, я отшучиваюсь более или менее грубо — по настроению. Иногда посылаю вопрошающих матюгами, бывает, закидываю помоями. Этого добра у меня навалом, ведь я двадцать лет обитаю в мусорном контейнере.

Если бы я тогда знал, каково так жить, то ни за что не выбрал бы такую судьбу. Но я был молод, а боль и стыд накрывали меня с головой. Теперь, чтобы это изменить, придётся пожертвовать чудовищным количеством ударов. Так что пусть всё остаётся как есть. Ещё я пожелал, чтобы никто меня не трогал и не мешал выполнять задуманное. Два десятка уточнений, чтобы не болеть, не умереть раньше времени, иметь возможность барабанить большую часть дня — довольно сложная

конструкция, я потратил на неё год. Только после этого смог приступить к своей основной миссии. Я хочу вернуть Октябрьскую.

Сорок лет плюс-минус год — примерно столько времени мне понадобится, чтобы настучать необходимое количество ударов. Было шестьдесят — время всё-таки идёт. Ничего, добью, дотерплю, а там и помру спокойно. Я к тому времени буду совсем старый, а Октябрьская так и останется подростком. Ничего, я по ней отгоревал, а она вряд ли станет сильно страдать из-за смерти вонючего деда из помойки и предавшего её друга. Возможно, она даже набьёт мне морду напоследок. Вообще за то, что я сделал, следовало бы убить. Может, и убьёт: много ли старому бомжу надо? Все мои защиты рассыплются после того, как я верну Октябрьской барабан. А я верну. Пусть делает что хочет: расшатывает, переворачивает мир — пусть. За эти годы я понял, что он гораздо устойчивее, чем я думал. Иногда мне кажется, его ничем не прошибёшь. К тому же я изменил своё мнение о нормальных людях. Навидался их, посмотрелся. Большинству из них и правда не помешала бы хорошая встряска.

Я полюбил ворон. Мы с ними дружим. Они слетаются в мой контейнер, для того чтобы меня навестить, к тому же у меня всегда много объедков, можно сказать, я в них сижу по самую шею.

Поскольку меня невозможно ни прогнать, ни убить и никто не понимает, почему так, я постепенно стал городской достопримечательностью. Меня даже туристам показывают. Иногда я вижу старых знакомых, они говорят со мной издалека, чуть ли не с другой стороны улицы, и очень боятся, что их кто-нибудь увидит. Охают, мнутся: «Эх, Илия! Ох, Илия!» Я понимаю, на самом деле они боятся заразиться моей судьбой, хотя им кажется, что их отпугивают вонь и страх подцепить болезнь.

Ворона садится на плечо. Я назвал её Асей — мне нравится это имя. Октябрьскую я так звать не могу, а ворону — легко.

С кряхтением вылезая из контейнера. Ася перепрыгивает на ржавый бортик, скачет по нему, а когда я твёрдо встаю на асфальт, снова садится мне на плечо. Достāju палочки, поправляю барабан. Тра-та-та-та-та! Играй, Илия, играй! Скоро весна!